

Марк Твен
**Похождения
Тома Сойера**



Имя необыкновенного американского писателя Марка Твена неразрывно связано с именем самого известного его персонажа — озорника и непоседы Тома Сойера. Свободолюбивый Том во многом является отражением самого автора, впрочем, не только автора, но и многих его читателей, ведь все мы родом из детства. Двенадцатилетний Том и его верный товарищ Гекльбери Финн, жители небольшого провинциального американского городка в Америке. За короткое время приятели успеют побывать детективами и пиратами, заблудиться в пещере и отыскать клад.

«Похождения Тома Сойера» — одна из самых известных и читаемых в мире книг. И это не удивительно, ведь у сорванца Тома есть чему поучиться и взрослым, и детям: не только хитрости и находчивости, но также юмору, искренности и безграничной любви к жизни.

Марк Твен

Похождения Тома Сойера

Предисловие автора

Большинство приключений, о которых повествует эта книга, не вымышлены; два-три пережиты мною самим, остальные мальчиками, которые были моими школьными товарищами. Гек Финн списан с натуры; Том Сойер тоже, но не с одного лица; в нем скомбинированы характерные черты трех мальчиков, которых я знал; стало быть, он принадлежит к смешанному стилю архитектуры.

Странные суеверия, о которых упоминается в конце, господствовали среди детей и рабов на Западе в эпоху, к которой относится рассказ, то есть тридцать-сорок лет тому назад.

Хотя моя книга предназначена главным образом для мальчиков и девочек, но я надеюсь, что это не оттолкнет от нее мужчин и женщин, так как отчасти моим намерением было напомнить в шуточной форме взрослым, какими они были в свое время, что они тогда чувствовали, думали и говорили, какие необычайные предприятия иной раз затевали.

Марк Твен
Гартфорд, 1876

Глава I

Эй, Том! — Тетя Полли поступает по внушению долга. — Том упражняется в музыке. — Вызов. — Через окошко.

— Том!

Ответа не было.

— Том!

Ответа не было.

— Куда подевался этот мальчишка, не постигаю! Том!

Старая леди опустила очки и взглянула поверх них, осматривая комнату, потом приподняла очки и взглянула из-под них. Сквозь очки она редко или никогда не смотрела на такую мелочь, как мальчик, так как это была ее парадная пара, гордость ее сердца, заведенная ради моды, а не для употребления; она с одинаковым успехом могла бы смотреть сквозь пару печных заслонок.

С минуту она озиралась с недоумением, затем сказала без гнева, но достаточно громко, чтобы мебель могла ее слышать:

— Ну, попадись ты мне, я...

Она не закончила, так как в это время нагнулась, чтобы засунуть щетку под кровать, и ей пришлось перевести дух, как бы поставить точку своим усилиям. Она потревожила только кота.

— Никогда мне не сладить с этим мальчишкой.

Она подошла к открытой двери и выглянула в садик, всматриваясь в заросли томатов и дурмана. Тома не было. Тогда она повысила голос в расчете на дальнейшее расстояние и крикнула:

— То-о-ом!

Позади нее послышался легкий шум, и она обернулась как раз вовремя, чтобы поймать за ворот маленького мальчугана и помешать ему удрать.

— Вот ты где! Я и забыла о чулане. Что ты там делал?

— Ничего.

— Ничего?.. Посмотри-ка на свои руки, посмотри на свои губы. Что это такое?

— Не знаю, тетя.

— А я знаю. Это мармелад, вот что это такое. Сколько раз я тебе говорила, что, если ты будешь трогать мармелад, я тебя выдеру. Подай хлыст.

Хлыст взвился в воздухе. Опасность грозила неминуемая.

— Ай!.. Взгляните назад, тетя!

Старая леди повернулась и машинально схватилась за свои юбки, спасая их, а мальчуган моментально задал стрекача, вскарабкался на высокий забор и исчез за ним. Тетка Полли с

минуту стояла в недоумении, а затем благодушно рассмеялась.

— Пора бы мне знать этого негодного мальчишку. Сколько уж раз он устраивал такие же штуки, чтобы отвлечь от себя мое внимание. Но старые дураки неисправимы. Старую собаку не выучишь новым штукам, говорит пословица. И то сказать, ведь он каждый раз выдумывает что-нибудь новое, изволь тут за ним угнаться. Он как будто знает, сколько времени меня можно мучить, прежде чем я рассержусь; знает и то, что если ему удастся рассмешить меня, то его дело в шляпе, и у меня не хватит духу задать ему трепку. Я не исполняю своего долга по отношению к этому мальчику, видит Бог, не исполняю. Кто жалеет розгу, тот губит ребенка, говорит мудрая книга. Я возвращаю грех и гибель для нас обоих, это как Бог свят! В мальчике сидит бес, но как же мне быть-то! Ведь он, бедняжка, сын покойной сестры, и у меня не хватает духу его сечь. Всякий раз, как спущу ему, меня мучает совесть; а как побью, мое старое сердце готово разорваться. Ну, что поделаешь, человек, рожденный женою, краткодневен и насыщен печалью, говорит Писание, и я думаю, так оно и есть. Сегодня вечером он прогуляет школу, и мне придется завтра усадить его за работу, в наказание. Жестоко заставлять его работать в субботу, когда все

ребятишки гуляют, но он ненавидит работу больше всего на свете, и мне надо же хоть сколько-нибудь исполнять свой долг по отношению к нему, иначе я погублю этого ребенка.

Том прогулял школу и провел день очень весело. Он вернулся домой как раз вовремя, чтобы помочь Джиму, цветному мальчику, напилить дров на завтра и нащепать лучины к ужину, — по крайней мере, вовремя для того, чтобы рассказать Джиму о своих похождениях, пока Джим исполнил три четверти работы. Младший брат Тома (точнее сводный брат), Сид, уже кончил свою работу (сборание щепок), так как он был тихий мальчик, не сорванец. Пока Том ужинал и по мере возможности таскал сахар, тетка Полли предлагала ему вопросы, полные коварства и чрезвычайно глубокие, так как рассчитывала вытянуть из него важные разоблачения. Подобно многим простодушным существам, она немножко гордилась своим талантом в темной и таинственной дипломатии и свои самые прозрачные намеки считала чудесами тонкого подвоха.

— Том, — сказала она, — в школе было довольно-таки жарко?

— Да.

— Очень жарко, правда?

— Да.

— Небось, тебе хотелось выкупаться, Том?

Том встрепнулся, у него мелькнуло подозрение. Он пристально взглянул на тетку Полли, но ничего не прочел на ее лице. Он ответил:

— Нет... так себе, не очень.

Старушка протянула руку и пощупала рубашку Тома.

— Но теперь тебе не жарко, нет?

Ей было лестно думать, как ловко она убедилась, что его рубашка суха, не дав никому понять, что это и было у нее на уме. Но Том уже сообразил, куда ветер дует, и поспешил предупредить новый возможный подвох с ее стороны.

— Мы обливали головы у насоса, и мои волосы еще не совсем высохли. Вот пощупайте.

Тетке Полли было досадно, что она упустила из виду эту маленькую вещественную улику и дала маху. Но тут на нее снова нашло вдохновение.

— Том, тебе ведь не нужно было распаривать ворот рубашки, чтобы намочить голову? Значит, он так и остался, как я его зашила. Расстегни-ка куртку!

Всякий след беспокойства исчез с лица Тома. Он расстегнул куртку. Воротник оказался зашитым.

— Вы подумайте!.. Ну, ступай себе. Я была уверена, что ты прогулял школу и купался. Но я тебя прощаю. Том, я вижу, что ты немножко образумился на этот раз.

Ей было отчасти досадно, что пронизательность ее подвела, но и приятно, что Том оказался хоть раз послушным мальчиком.

Но Сидней сказал:

— Как же это, ведь вы, кажется, зашили ему воротник белой ниткой, а у него черная.

— Да, я зашила белой! Том!

Но Том не стал дожидаться последствий. В дверях он сказал:

— Сидди, я тебя вздую за это.

Находясь в безопасном месте, он осмотрел две иголки, приколотые за обшлагом его куртки, — одна с белой, другая с черной ниткой.

— Если бы не Сид, она бы ничего не заметила, — сказал он. — То она зашивает белой, то черной ниткой. Надо бы за этим смотреть, но я всегда забываю. Зато уж и вздую я Сида. Убей меня Бог, если не вздую.

Он не был примерным мальчиком деревни. Впрочем, он очень хорошо знал примерного мальчика и терпеть не мог его.

Минуты две, или даже меньше, спустя, он уже забыл о своих неудачах. Не потому, чтобы они были менее тяжелы и горьки для него, чем неудачи взрослых, но потому, что новый и мощный интерес овладел им и вытеснил их из его души; так ведь и неудачи взрослых забываются в увлечении новыми предприятиями.

Это новое увлечение относилось к интереснейшему способу свиста, которому научил его один негр. Теперь он хотел испытать его на досуге и без помехи. Нужно было во время свиста прижимать язык к нёбу, через коротенькие промежутки времени, — выходило совсем как у птицы, длинная и звонкая трель. Читатель, вероятно, припомнит, как это делается, если был когда-нибудь мальчиком. Усердие и внимание Тома скоро увенчались успехом, и он пошел по улице, с музыкой на губах и восхищением в душе. Он чувствовал себя приблизительно так, как астроном, открывший новую планету. Но без сомнения, преимущество сильного, глубокого, безмятежного наслаждения было на стороне мальчика, а не астронома.

Летние вечера долги. Было еще светло. Внезапно Том перестал свистеть. Перед ним стоял незнакомый мальчик, немножко выше него. Новое лицо, какого бы то ни было возраста или пола, было сенсационным явлением в бедной маленькой деревушке С.-Питерсбург. Этот мальчик был хорошо одет, — слишком хорошо для будней. Просто ослепительно. Нарядная шляпа, синяя курточка, застегнутая на все пуговицы, новенькая и чистенькая, и такие же панталоны. На ногах ботинки — а ведь была еще пятница! Мало того, на шее красовался галстук с бантом. Его городской

вид задел Тома за живое. Чем дольше Том смотрел на это великолепное явление, тем выше задирали нос на его щегольство и тем оскорбительнее чувствовал неприглядность собственной внешности. Оба мальчика молчали. Когда двигался один, двигался и другой, но боком, по косой линии. Они оставались лицом к лицу и не спускали друг с друга глаз. Наконец Том сказал:

— Я тебя тресну!

— Посмотрю я, как ты это сделаешь.

— Очень просто могу сделать.

— Очень просто не можешь.

— А вот могу!

— А вот не можешь.

— Нет, могу.

— Нет, не можешь.

— Могу.

— Не можешь.

Неловкое молчание. Затем Том спросил:

— Как тебя зовут?

— Это не твоё дело.

— Захочу, так будет моё.

— Нет, не будет.

— Поговори ещё, так увидишь.

— Говорю, говорю, говорю! Ну, что же ты?

— О, ты думаешь, что ты важный франт? Я тебя одной рукой уберу, если захочу.

— Ну, что ж ты не убираешь? Ведь ты

говоришь, что можешь это сделать.

— И сделаю, если ты вздумаешь дразнить меня.

— О, да — видал я таких нищих.

— Франт! Ты думаешь, что ты важная птица.

— Ох, какая шляпа!

— Ну-ка, тронь эту шляпу, если она тебе не нравится. Попробуй сбить ее с меня; кто попробует, тому я нос расквашу!

— Лгун!

— Сам такой!

— Ты задира и лгун, и ничего не смеешь.

— Ну, — проваливай.

— А вот коли будешь еще приставать ко мне, так я и хвачу тебя камнем по голове.

— Что и говорить,хватишь.

— Ну да, хвачу.

— За чем же дело стало? Болтать болтаешь, а делать не делаешь. Потому что боишься.

— Я не боюсь.

— Нет, боишься.

— Не боюсь.

— Боишься.

Новая пауза, и еще более пристальное разглядыванье и похаживанье друг подле друга. Теперь они стояли плечом к плечу. Том сказал:

— Убирайся отсюда!

— Сам убирайся!

— Я не пойду.

— И я не пойду.

Так простояли они некоторое время, оба отставив ногу под углом для опоры, напирая один на другого изо всех сил и с ненавистью глядя друг на друга. Но никому не удалось сдвинуть другого. После молчаливой борьбы, продолжавшейся до тех пор, пока лица у обоих налились кровью, оба осторожно разошлись, и Том сказал:

— Ты трусишка и щенок. Я скажу про тебя моему старшему брату, а он может тебя мизинцем прищелкнуть; и так и сделает, если я его попрошу.

— Боюсь я очень твоего старшего брата! У меня есть брат, побольше твоего; он его через этот забор перекинет. (Оба брата существовали только в воображении.)

— Вранье.

— Не станет враньем оттого, что ты это говоришь.

Том провел по пыли черту большим пальцем ноги и сказал:

— Попробуй переступить через эту черту, я тебя отколочу так, что не встанешь. Всякий, кто переступит, получит трепку.

Новый мальчик быстро переступил черту и сказал:

— Ну, ты говорил, что отколотишь меня,

посмотрим, как ты это сделаешь.

— Не лезь ко мне, лучше убирайся.

— Нет, ты сказал, что отколотишь, — попробуй же.

— Я не я, коли не отколочу за два цента.

Незнакомый мальчик вынул из кармана два медяка и насмешливо протянул их.

Том бросил их на землю.

В следующее мгновение оба мальчика катались и барахтались в пыли, сцепившись, как кошки; с минуту они трепали и таскали друг друга за волосы и за одежду, царапали и разбивали друг другу носы, покрываясь пылью и славой. Затем схватка приняла более определенный характер; в тумане сражения выделилась фигура Тома, который сидел верхом на своем противнике и тузил его кулаками.

— Живота или смерти? — спрашивал он.

Другой мальчик только барахтался, стараясь освободиться. Он плакал, главным образом, от бешенства.

— Живота или смерти? — Расправа продолжалась.

Наконец незнакомец пробормотал сквозь слезы:

«Живота!», и Том выпустил его, сказав:

— Это тебе наука. Вперед смотри, с кем связываешься.

Нарядный мальчик ушел, отряхивая пыль с одежды, всхлипывая, фыркая носом, по временам оглядываясь на Тома и обещая задать ему, если тот попадется ему в другой раз. На это Том отвечал насмешками и пошел своим путем, торжествуя победу; но лишь только он повернулся спиной к новому мальчику, последний схватил камень, швырнул его, попал Тому между плечами и помчался с быстротою антилопы. Том гнался за ним до самого дома и таким образом узнал, где он живет. Тут он постоял некоторое время у ворот, приглашая врага выйти, но враг только строил ему гримасы из окошка и отклонял вызов. Наконец появилась мать врага, назвала гадким, скверным, грубым мальчишкой и потребовала, чтобы он убирался. Тогда он ушел, заявив, что еще посчитается с мальчиком.

Он пришел домой довольно поздно ночью, осторожно влез в окно и попал в засаду, очутившись в руках тетки. Когда она освидетельствовала состояние его костюма, ее решение превратить для него субботу в день пленения и тягостного труда приобрело алмазную твердость.

Глава II

Искушения. — Стратегические уловки. —

Простофили попались.

Наступило утро субботы, и весь летний мир был ясен, свеж и полон жизни. В каждом сердце звучала песня, а если сердце было молодо, песня рвалась с губ. У всех лица дышали счастьем, у всех походка сбивалась на танец. Акации стояли в цвету, и благоухание разливалось в воздухе.

Кардиж Гилль, холм, возвышавшийся над деревней, был одет зеленью и находился достаточно далеко, чтобы казаться Волшебной Страной, очаровательной, мирной и заманчивой.

Том появился на тротуаре с ведерком извести и кистью на длинной ручке. Он посмотрел на забор, и природа омрачилась, и глубокая скорбь овладела его душой. Забор в тридцать ярдов длины и десять футов высоты! Жизнь показалась ему пустой шуткой, существование — бременем. Со вздохом обмакнул он кисть в известковый раствор и провел ею по самой верхней планке; повторил эту операцию; еще раз повторил; сравнил ничтожную белую полоску с необъятной ширью некрашеного забора и, обескураженный, уселся на деревянную кадушку. Джим вприпрыжку выбежал из ворот с жестяным ведром, напевая «Девки в Буффало». Носить воду из деревенской водокачки всегда было ненавистной работой в глазах Тома, но теперь она представилась ему в новом свете. Он вспомнил, что у водокачки всегда собиралась компания. Мальчики

и девочки — белые, мулаты и негры — вечно толкались там, дожидаясь очереди, отдыхая, обмениваясь разными безделушками, ссорясь, задавая друг другу потасовки, играя. Вспомнил он и то, что хотя водокачка находилась всего в полутора ста ярдах, но Джим никогда не возвращался с ведром раньше, чем через час, да и то обыкновенно приходилось посылать за ним. Том сказал:

— Послушай, Джим, я сбегаю за водой, а ты покрась за меня.

Джим покачал головой и ответил:

— Нельзя, господин Том. Старая миссис сказала, чтобы я шел за водой и ни с кем бы не говорил. Она сказала, что господин Том будет просить меня покрасить за него, — так чтобы я шел и делал свое дело, а она будет смотреть, не крашу ли я.

— О, мало ли что она говорила! Она всегда это говорит. Дай-ка ведро, — я мигом слетаю. Она ничего не узнает.

— О, я не смею, господин Том. Старая миссис сказала, что она мне голову оторвет. Правда, оторвет.

— Она! Она никогда никого не бьет, — разве стукнет по голове наперстком, так ведь это никому не страшно. Она только грозит, да ведь от слов не больно, — если только она сама не плачет. Джим, я

подарю тебе шарик. Я подарю тебе белый шарик.

Джим начал колебаться.

— Белый шарик, Джим, ведь это чего-нибудь да стоит!

— Еще бы, чудесная штука, я знаю. Но, господин Том, я страх боюсь старой миссис.

Но Джим был человек, и искушение оказалось сильнее его. Он поставил ведро, взял белый шарик. В следующее мгновение он летел по улице с ведром в руках и зудом в затылке, Том усердно мазал забор, а тетка Полли удалялась с места действия с туфлей в руке и торжеством во взоре.

Но энергия Тома быстро иссякла. Он стал думать о забавах, которых ожидал от этого дня, и горечь его удвоилась. Другие мальчики скоро пустятся во всевозможные восхитительные экспедиции, будут издеваться над ним по поводу его работы, — эта мысль жгла его огнем. Он вытащил из карманов свои мирские сокровища и осмотрел их: игральные шарик, осколки, разные безделки; хватит, пожалуй, чтобы обменяться работой, но и думать нечего купить хоть полчаса настоящей свободы. Он снова спрятал в карман свое скудное имущество и отказался от мысли подкупить мальчиков. В эту мрачную и безнадежную минуту его осенило вдохновение. Да, великое, дивное вдохновение, ни более, ни менее. Он взял кисть и спокойно принялся за работу.

Вдали показался Бен Роджерс; в деревне не было мальчика, чьи насмешки были бы для него страшнее. Походка у Бена была приплясывающая, подпрыгивающая; это свидетельствовало, что на сердце у него легко и перспективы его лучезарны. Он ел яблоко, а в промежутках издавал протяжный, мелодичный вой, за которым следовало низкое «дин-дон-дон, дин-дон-дон», так как он изображал собой пароход. Подойдя ближе, он замедлил ход, направился на середину улицы, сильно подался вправо, затем грузно повернул, и все это с подобающей важностью и солидностью, так как олицетворял «Большой Миссури» и считал, что сидит на десять футов в воде. В лице его совмещались пароход, капитан и звонок машиниста, так что он воображал себя стоящим в собственной рубке, отдающим приказания и исполняющим их.

— Стоп, сэр! Линг-а-линг-линг. — Пароход приостановился и медленно повернул к тротуару. — Задний ход. Линг-а-линг-линг! — Его руки выпрямились и вытянулись вдоль боков. — Правым бортом назад! Линг-а-линг-линг! Шу-гя... шу... у... шу! — тем временем его правая рука описывала большие круги, так как изображала сорокафутовое колесо. — Левым бортом назад! Линг-а-линг-линг! Шу... ш... шу... шу! — Левая рука стала описывать круги.

— Стоп правый борт! Линг-а-линг-линг! Стоп левый борт! Вперед правым бортом! Стоп! Поворачивай тихонько нос! Линг-а-линг-линг! Шу-у-у! Вытягивай передний канат! Живо, шевелись! Ну, что у вас там со шпрингом? Закидывай канат за сваю! Теперь причаливай! Остановите машину, сэр! Линг-а-линг-линг! — Шт! шт! шт! (Делая промер.)

Том белил себе забор, а на паракорд ноль внимания. Бен посмотрел на него с минуту, потом сказал:

— Ты-ы!.. Это ты свая, а?

Никакого ответа. Том рассматривал свой последний мазок оком художника, затем слегка провел кистью и снова полюбовался результатом. Бен причалил к нему борт о борт. У Тома слюнки потекли при виде яблока, однако он не отрывался от работы. Бен сказал:

— Эй, старина! Работать заставили?

— А, это ты, Бен! А я и не заметил.

— Я иду купаться. Небось, и тебе бы хотелось, но приходится сначала кончить работу? Так ведь?

Том взглянул на мальчика и сказал:

— Какую работу?

— Да разве это не работа?

Том продолжал белить и ответил небрежно:

— Может быть, да, а может быть и нет. Знаю только, что Тому Сойеру она по нутру.

— О, выдумывай! Ты, пожалуй, будешь уверять, что она тебе нравится?

Кисть продолжала действовать.

— Нравится? А почему бы она мне не нравилась? Не каждый день мальчикам случается белить забор!

Дело представлялось в новом свете. Бен перестал грызть яблоко. Том элегантно водил кистью взад и вперед, отступал немного, чтобы полюбоваться эффектом, прибавлял мазок или два, — снова любовался, а Бен следил за каждым движением все с большим интересом, все с большим увлечением. Вдруг он сказал:

— Послушай, Том, дай мне покрасить немножко.

Том подумал; хотел было согласиться, но передумал:

— Нет, нет, Бен, никак нельзя. Видишь ли, тетка Полли очень дорожит этим забором, — ведь он выходит на улицу, — будь это на задах, тогда другое дело; ни она бы, ни я не беспокоились. А насчет этого забора она очень беспокоится; его нужно выбелить хорошенько, как следует; я так думаю, разве что один мальчик из тысячи, может быть, из двух тысяч, сумеет сделать как надо.

— Ну, разве? О, послушай, дай мне только

попробовать, так, чуть-чуть. Я бы дал тебе, будь я на твоём месте, Том.

— Бен, я бы тоже дал, как честный индеец, но тетка Полли... Видишь ли, Джим хотел красить, она не позволила. Сид хотел красить, — не позволила и Сиду. Сам видишь, как я стараюсь. Ну, пушу я тебя, а ты сделаешь что-нибудь не так, и...

— О, пустяки, я постараюсь. Дай только попробовать. Слушай, я тебе дам сердцевину моего яблока.

— Ну хорошо. Да нет, Бен, нельзя, я боюсь...

— Я тебе отдам все яблоко!

Том передал кисть с неохотой на лице, с весельем в сердце. И пока бывший пароход «Большой Миссури» трудился и потел на солнце, удалившийся артист сидел в тени на кадлушке, болтал ногами, жевал яблоко и обдумывал планы улавливания других простаков. Недостатка в материале не было; мальчики подходили один за другим: они начинали с насмешки, а кончали тем, что принимались белить. Когда Бен наработался и ушел, Том уступил очередь Билли Фишеру за бумажного змея, вполне исправного; а когда насладился Билли, его сменил Джони Миллер за дохлую крысу и веревочку, на которой ее можно было раскачивать; и так далее, час за часом. Так что к середине дня Том, еще утром неимуший бедняк, буквально утопал в богатстве. У него оказались,

кроме тех вещей, которые я назвал, двенадцать шариков, часть органчика, кусок синего бутылочного стекла, в которое можно было смотреть, катушка, ключ, которым нельзя было ничего открыть, кусок мыла, стеклянная пробка от графина, оловянный солдатик, пара головастика, шесть хлопушек, одноглазый котенок, медная ручка от двери, ошейник для собаки, но без собаки, рукоятка перочинного ножа, четыре апельсиновые корки и старый изломанный оконный переплет. Все время он благодушествовал, сложа руки, в компании, а забор между тем покрылся тройным слоем белил! Если бы известка не вышла, он разорил бы всех мальчиков в деревне.

Том сказал себе самому, что этот мир в конце концов не так уж печален. Он, сам того не зная, открыл великий закон человеческой деятельности, а именно: чтобы заставить взрослого или мальчика желать что-нибудь, нужно сделать это труднодостижимым. Если бы он был великим и мудрым философом, подобно автору этой книги, он понял бы, что работа заключается в том, что человек обязан делать, а развлечение в том, чего он не обязан делать. А это помогло бы ему понять, почему изготовление искусственных цветов или хождение по топчаку, приводящему в действие машину, есть работа, а катание кегельных шаров или восхождение на Монблан — только забава. В

Англии есть богатые джентльмены, готовые править четверней дилижанса на расстоянии двадцати-тридцати миль летом, потому что за это нужно заплатить изрядные деньги, но если бы им предложили плату за эту службу, она превратилась бы в работу и они отказались бы от нее.

Глава III

Том — командир. — Торжество и награда. — Плачевное счастье. — Поручение и промах.

Том предстал перед теткой Полли, сидевшей у открытого окна в уютной задней комнате, которая служила спальней, столовой и кабинетом. Бальзамический летний воздух, безмятежная тишина, аромат цветов, усыпляющее гудение пчел оказали свое действие, она клевала носом над вязаньем, так как с ней никого не было, кроме кота, заснувшего у нее на коленях. Очки были вздернуты на ее седую голову ради безопасности. Она думала, что Том, конечно, давно уже дал тягу, и удивилась, что он так мужественно отдается в ее руки. Том спросил:

— Мне можно теперь идти играть, тетя?

— Как, уже? Сколько же ты сделал?

— Все сделано, тетя.

— Том, не лги. Терпеть не могу.

— Я не лгу, тетя, все сделано.

Тетка Полли не слишком полагалась на эти уверения. Она отправилась посмотреть сама и была бы довольна, если бы утверждение Тома оказалось на двадцать процентов истинным. Когда же она убедилась, что весь забор выбелен, и не просто выбелен, а тщательно покрыт тройным слоем раствора, причем даже по земле проведена полоса в виде бордюра, удивлению ее не было границ.

— Вот бы никогда не подумала! — сказала она. — Ну, нечего сказать, ты можешь работать, когда захочешь, Том.

Тут она ослабила комплимент, прибавив:

— Только ты очень уж редко хочешь работать, должна я сказать. Хорошо, ступай играть, но смотри, возвращайся вовремя, не то я тебе задам.

Она была так восхищена блеском его подвига, что повела его в чулан, выбрала лучшее яблоко и вручила ему вместе с назидательным рассуждением о добавочной ценности и сладости угощения, заслуженного честно, добродетельным усердием. И заключила она это наставление очень удачной цитатой из Священного Писания, а он тем временем стибрил пряник.

Затем он выскочил во двор и увидел Сиду, который поднимался по наружной лестнице на второй этаж. Комки земли были под ногами и моментально замелькали в воздухе. Они градом

посыпались вокруг Сиды; и прежде чем тетка Полли успела опомниться и броситься на выручку, шесть или семь комков попали по назначению, а Том перемахнул через забор и был таков. Во дворе имелась калитка, но он, по обыкновению, слишком торопился, чтобы воспользоваться ею. Теперь душа его была спокойна, так как он рассчитался с Сидом за то, что тот подвел его с черной ниткой. Том обошел опасное место и направился по грязному переулку позади коровника тетки Полли. Он теперь ускользнул от плена и наказания и пробирался на площадь, где две военные партии мальчиков должны были сойтись для боя, согласно уговору. Том был генералом одной из этих армий, Джо Гарпер (его закадычный друг) — другой. Оба великих полководца не снисходили до личного участия в бою — это приличествовало лишь мелкой сошке, — а сидели на возвышении и управляли военными действиями через адъютантов. Армия Тома одержала блистательную победу после продолжительного и упорного боя. Затем сосчитали убитых, обменялись пленными, договорились насчет следующего сражения и назначили для него день, после чего армия выстроилась в линию и отправилась восвояси, а Том вернулся домой один.

Проходя мимо дома, где жил Джефер Татчер, он увидел в саду новую девочку — прелестное маленькое голубоглазое создание с русыми

волосами, заплетенными в две длинные косы, в белом летнем платье и кружевных панталончиках. Только что увитый лаврами герой пал без выстрела. Некая Эми Лауренс испарилась из его сердца, как будто и не бывала в нем. Он думал, что влюблен в нее до безумия; он считал свою страсть обожанием, и вот она оказалась только жалким, мимолетным увлечением. Он целые месяцы ухаживал за ней, она сдалась всего неделю тому назад; он был самым гордым и счастливым мальчиком в мире семь коротких дней, и вот, в одно мгновение, она ушла из его сердца, точно случайный гость, заглянувший на минутку.

Он украдкой молился этому новому ангелу, пока не убедился, что она заметила его, а затем принялся выставляться, проделывая всевозможные нелепые мальчишеские шутки с целью возбудить ее изумление. Некоторое время он предавался этому дурачеству, но случайно взглянув на нее в момент одного опасного гимнастического выверта, увидел, что девочка отвернулась и уходит в дом. Том подбежал к забору и прислонился к нему в глубокой горести и в надежде, что она побудет еще немножко. Она на минутку приостановилась на крыльце, а потом двинулась к двери. Том испустил глубокий вздох, когда она ступила на порог, но лицо его тотчас просияло: перед тем как исчезнуть,

она бросила через забор фиалку. Мальчик подбежал и остановился на расстоянии одного или двух футов от цветка, затем поднес к глазам руку на манер козырька и стал всматриваться в конец улицы, как будто заметил что-то интересное в этом направлении. Потом подобрал соломинку и принялся устанавливать ее на кончик своего носа, закинув голову назад. Двигаясь из стороны в сторону при этих усилиях, он постепенно приближался к фиалке; наконец его босая нога накрыла цветок, ее гибкие пальцы охватили его, и он ускакал на одной ноге со своим сокровищем и скрылся за углом. Но только на минуту, только для того, чтобы вдеть цветок в петлицу своей курточки, подле своего сердца, а может быть и желудка, так как он не был силен в анатомии и не слишком заботился о точности.

После этого он вернулся и оставался у забора, пока не стемнело, продолжая выставляться. Но девочка не показывалась больше, хотя Том утешал себя мыслью, что она стоит где-нибудь у окна и видит его выкрутасы. Наконец он неохотно поплелся домой, а бедная голова его была полна грез.

За ужином он проявил такое возбуждение, что тетка дивилась, что такое с этим ребенком. Он получил хорошую головомойку за расправу с Сидом, но и ухом не повел. Он попытался стянуть

сахар под самым носом у тетки и получил за это по пальцам.

— Тетя, вы небось не шлепаете Сидя, когда он это делает.

— Сид не изводит человека так, как ты. Ты бы весь сахар перетаскал, не присматривай я за тобой.

Затем она ушла на кухню, а Сид, пользуясь безопасной минутой, потянулся к сахарнице, поглядывая на Тома с насмешливо торжествующим видом, что было просто невыносимо. Но рука его соскользнула, сахарница полетела на пол и разбилась. Том был в восторге, — в таком восторге, что даже прикусил язык и остался безмолвным. Он решил, что не скажет ни словечка, даже когда придет тетка, а будет сидеть смирнехонько, пока она не спросит, кто это напроказил. Тогда он заговорит, и то-то будет весело смотреть, как влетит любимчику, примерному мальчику. Он был так переполнен ликованием, что едва мог сдерживаться, когда старушка вернулась и, остановившись над осколками, метала молниеносные взоры поверх очков. Он сказал самому себе: теперь начнется потеха! И в следующее мгновение растянулся на полу от здорового шлепка! Мощная длань поднялась для нового удара, но Том завопил:

— Да за что же вы меня колотите? Это Сид разбил!

Тетка Полли в смущении остановилась, а Том ожидал раскаяния и сожаления. Но когда к ней вернулся дар слова, она сказала:

— Ну! Все равно, ты заслуживал шлепка. Ты наверное устроил какую-нибудь другую проказу, пока я не смотрела за тобой.

Тут совесть стала упрекать ее, и ей захотелось сказать что-нибудь ласковое и нежное, но ведь это было бы понято как признание в своей неправоте, чего не допускала дисциплина. Поэтому она промолчала и занялась своими делами, с тяжестью в душе.

Том надулся в углу, преувеличивая свои обиды. Он знал, что тетка в сердце своем стояла на коленях перед ним, и находил мрачное удовлетворение в этом сознании. Он ничего не проявлял со своей стороны и ни на что не обращал внимания. Он знал, что нежный взгляд падает на него время от времени сквозь пелену слез, но не хотел замечать его. Он видел себя в постели больным при смерти, и тетка наклоняется над ним, с мольбою о прощении, но он поворачивается лицом к стене, не произнося ни слова. Что-то она тогда почувствует! И он представлял себе, как его приносят домой из реки, мертвого, волосы его совсем мокрые, бедные рученьки навсегда перестали проказить, наболевшее сердце успокоилось навеки. И вот она бросается на его

тело, слезы ее льются рекою, уста молят Бога вернуть ей ее мальчика, которого она больше никогда, никогда не будет обижать! Но он лежит перед нею холодный и бледный, не подавая признаков жизни, — бедный маленький страдалец, испивший до дна чашу скорби! Он так расчувствовался, представляя себе эти грустные картины, что едва удерживался от рыданий: глаза его были полны влагой, и когда он мигал, она катилась вниз и капала с кончика его носа. И так ему сладко было лелеять свои горести, что он не хотел тревожить этого настроения никаким легкомысленным удовольствием или грубым весельем: оно было слишком священо для них; так что, когда кузина Мэри влетела в комнату, в восторге, что наконец вернулась домой после бесконечного, длившегося целую неделю пребывания в гостях, он вскочил и убежал в безмолвие и мрак от звуков и света, которые она внесла с собою. Он бродил в стороне от мест, где обыкновенно собирались мальчишки, ища уединения, гармонировавшего с его душевным состоянием. Плот на реке манил его, он уселся на самом краю и смотрел на угрюмую пустыню вод, думая, что хорошо бы было утонуть мгновенно и незаметно для себя самого, не подвергаясь неприятной рутине, предписываемой природой. Потом он вспомнил о цветке. Он достал его, смятый и увядший, и его

мрачное блаженство удвоилось. Он спрашивал себя, пожалела ли бы она его, если бы узнала? Залилась бы она слезами, пожелала бы иметь право обвить руками его шею и утешить его? Или бы отвернулась от него, как весь пустой свет? Эта картина вызвала такой приступ приятнейшего страдания, что он возился с ним без конца, варьируя на все лады и представляя себе его все в новом и новом свете, пока не истрепал окончательно! Наконец он встал со вздохом и пошел в темноте. Было около половины десятого или десяти, когда он шел по пустынной улице, где обитала обожаемая незнакомка. Он постоял с минуту у ее дома, прислушался, но его чуткое ухо не уловило никаких звуков; только слабый свет пробивался из-за штор одного окна во втором этаже. Не здесь ли ее священная обитель? Он перелетел через забор, тихонько пробрался среди растений и остановился под окном; долго, с волнением, смотрел на него; потом лег под ним навзничь, скрестив на груди руки с увядшим цветком. Так он умрет вдали от холодного света, без крова над бесприютной головой, и ничья дружеская рука не отрет смертного пота с его лба, ничье любящее лицо не склонится над ним с участием в минуту последней агонии. И тут она увидит его, когда выглянет из окна в веселое утро, — о, уронит ли она слезу на бедное

бездыханное тело, вздохнет ли она, вспомнив о цветущей юной жизни, так безжалостно загубленной, так безвременно подкошенной?

Окно отворилось; визгливый голос служанки возмутил священную тишину, и поток воды окатил останки нашего страдальца!

Захлебнувшийся герой вскочил, отфыркивая воду; затем в воздухе что-то просвистало, под аккомпанемент чуть слышного ругательства; последовал звон разбитого стекла; маленькая фигурка перемахнула через забор и исчезла в темноте.

Немного спустя, когда Том, раздетый, чтобы лечь в постель, рассматривал свою мокрую одежду при свете сального огарка, проснулся Сид; но если у него мелькнули некоторые смутные догадки о кое-каких намеках, то он благоразумно удержался, так как взгляд Тома не сулил ничего доброго. Том улегся, не утруждая себя молитвой, а Сид отметил в уме своем это упущение.

Глава IV

Акробатические упражнения ума. — Воскресная школа. — Директор. — На выставке. — Отличие Тома.

Солнце вставало над спокойным миром,

озаряя деревню своими лучами, как бы посылая ей благословение. После завтрака тетка Полли приступила к семейному богослужению. Оно началось молитвой, составленной из библейских цитат, игравших роль солидных камней, скрепленных легким цементом оригинальных размышлений. С вершины этого сооружения она прочла грозную главу из книг Моисеевых, точно с Синайской горы.

После этого Том препоясал, так сказать, чресла свои и принялся за зубрежку своих стихов из Библии. Сид давно уже выучил свой урок. Том напряг всю свою память, чтобы запомнить пять стихов. Он выбрал Нагорную проповедь, так как не мог найти стихов короче.

Спустя полчаса Том имел смутное представление о своем уроке, но не более того, так как дух его блуждал по всему полю человеческого мышления, а руки занимались посторонними развлечениями. Мэри взяла книгу, чтобы выслушать урок, и он попытался найти путь в тумане.

— Блаженны-э-э...

— Нищие...

— Да, нищие... блаженны нищие-э-э...

— Духом...

— Духом, блаженны нищие духом, ибо...

они... они...

— Их...

— Ибо их. Блаженны нищие духом, ибо их...
есть царствие небесное. Блаженны плачущие, ибо
они... они...

— У...

— Ибо они-э...

— Ут...

— Ибо они ут... О, я не знаю, что это за
слово.

— Утешатся.

— О, утешатся! Блаженны... блаженны-э-э...
утешатся... э-э... блаженны плачущие, ибо они
утешатся. Блаженны... блаженны-э... блаженны кто
еще? Что же ты мне не подсказываешь, Мэри? Что
ты меня дразнишь?

— Ох, Том, тупоголовый ты мальчик, вовсе я
тебя не дразню. Совсем нет. Тебе нужно
приниматься опять за урок и выучить его. Не
огорчайся, Том, ты справишься с ним, а когда
выучишь, я подарю тебе что-то хорошенькое! Ну,
будь же паинькой.

— Хорошо. А что это такое, Мэри? Скажи
мне, что это такое?

— Потом узнаешь, Том. Уж если я сказала,
что хорошенькое, так значит хорошенькое.

— Смотри же, ты обещала, Мэри. Хорошо, я
опять засяду.

Он засел опять и, пришпориваемый вдвойне

— любопытством и желанием получить подарок, — принялся за урок с такой энергией, что одолел его блестяще.

Мэри подарила ему новехонький барлоуский нож, ценою в двенадцать с половиной центов, — и трепет восторга пронизывал все его существо.

Правда, этим ножом нельзя было резать, но он был подлинный барлоуский, а это придавало ему несказанное достоинство — хотя откуда взяли мальчики, что клеймо могло быть подложным, — это глубокая тайна и, может быть, всегда останется таковой. Том принялся скоблить буфет и собирался приняться за письменный стол, когда его позвали одеваться в воскресную школу.

Мэри дала ему жестяной таз с водой и кусок мыла, и он вышел за дверь и поставил таз на скамейку; затем опустил мыло в воду, засучил рукава, тихонько вылил воду на землю и, вернувшись в кухню, принялся усердно вытирать лицо полотенцем, висевшим за дверью. Но Мэри взяла у него полотенце и сказала:

— И не стыдно тебе, Том? Какой ты дурной мальчик. Точно вода тебе больно сделает.

Том немножко сконфузился. Таз был снова наполнен, и на этот раз он немного постоял над ним, набираясь решимости, перевел дух и начал. Когда он вошел в кухню, зажмурив глаза и шаря

руками в поисках полотенца, мыльная вода, струившаяся по его лицу, свидетельствовала о его добросовестных усилиях. Но когда он отнял полотенце от лица, состояние последнего все еще оставалось неудовлетворительным, так как чистая территория, заканчивавшаяся у подбородка и скул, выглядела наподобие маски. Ниже этой линии и за нею простиралась темная полоса нетронутой почвы, охватывавшая шею. Мэри принялась за него сама и когда управилась с ним, это был другой человек и брат, с одноцветной кожей, с причесанными волосами, с красиво и симметрично лежавшими кудряшками (он тайком выпрямлял их с большим трудом и старанием и, как мог, приглаживал волосы, так как считал кудри признаком изнеженности, а его собственные отравляли его существование). Затем Мэри достала ему пару платья, надевавшуюся только по воскресеньям в течение двух лет — она называлась попросту его другой парой, что дает нам понятие об объеме его гардероба. Девочка привела его в порядок, когда он переоделся: застегнула доверху его парадную курточку, отогнула широкий воротничок его рубашки, почистила его щеткой и увенчала пестрой соломенной шляпой. Он выглядел теперь гораздо приличнее и несчастнее; да и чувствовал себя таким же несчастным, каким выглядел, так как его стесняло и раздражало

цельное платье и чистота. Он надеялся, что Мэри забудет о башмаках, но надежда была обманута. Она тщательно смазала их салом, как это было в обычае, и принесла ему. Тут его терпение лопнуло, и он заявил, что его всегда заставляют делать что-нибудь такое, чего он не хочет делать. Но Мэри сказала убедительно:

— Пожалуйста, Том, будь умницей.

Тогда он ворча надел башмаки. Мэри мигом собралась, и трое детей отправились в воскресную школу, место, которое Том ненавидел всеми силами души, тогда как Сиду и Мэри оно очень нравилось.

Занятия в воскресной школе продолжались с девяти до половины одиннадцатого. Затем следовала церковная служба. Двое из детей всегда оставались слушать проповедь добровольно, а третий тоже всегда оставался, но по более сильным мотивам. Жесткие, с высокими спинками церковные скамьи могли вместить около трехсот человек; здание церкви было маленькое и простое, с каким-то ящиком на верхушке вместо колокольни. У дверей Том остановился и заговорил с товарищем, одетым по-праздничному.

— Послушай, Билль, у тебя есть желтый билетик?

— Да.

— Что возьмешь за него?

— А что ты дашь?

— Кусок лакрицы и крючок для удочки.

— Покажи.

Том показал. Вещи понравились, и обмен состоялся. Затем Том отдал пару белых шариков за три красных билетика и какую-то безделушку за пару голубых. Он приставал к другим мальчикам, по мере того как они подходили, и в течение десяти или пятнадцати минут покупал разноцветные билетики. Затем вошел в церковь с толпой чистеньких и шумных мальчиков и девочек, уселся на свое место и завязал ссору с первым попавшимся мальчиком. Учитель, важный пожилой человек, разнял их; когда он отвернулся, Том дернул за волосы мальчика, сидевшего на передней скамье, и уткнулся в книгу, когда мальчик повернулся; уколол булавкой другого мальчика, чтобы заставить его вскрикнуть «ой!» и снова получил выговор от учителя. Весь класс Тома был ему под стать: неугомонный, шумный и буйный. Когда приходилось отвечать урок, никто не знал его как следует, зато подсказывали все кто бы то ни был; они плелись кое-как, и каждый получал свою награду в виде маленьких голубых билетиков с напечатанными на них стихами Библии; один голубой билетик выдавался за два стиха, прочтенные наизусть. Десять голубых билетиков равнялись одному красному и могли быть обменены на него; десять красных билетиков

равнялись одному желтому, а за десять желтых директор давал ученику Библию в простеньком переплете (стоившую сорок центов в те блаженные времена). У многих ли учеников хватило бы терпения и усердия заучить на память две тысячи стихов даже за Библию Дорэ? А Мэри приобрела таким способом две Библии, ценою усердного двухлетнего труда. Один мальчик, немецкого происхождения, приобрел их четыре или пять. Он прочел однажды залпом три тысячи стихов, но это потребовало чересчур сильного напряжения его умственных способностей, и с этого самого дня он превратился почти в идиота — великое несчастье для школы, так как в торжественных случаях, перед посетителями директор всегда вызывал этого мальчика и заставлял его, — по выражению Тома, — распинаться. Только старшие ученики берегли свои билеты и продолжали утомительную работу достаточно долго, чтобы заслужить Библию. Оттого выдача этой премии была редким и достопримечательным событием. Ученик, получивший ее, становился на тот день столь великим и славным, что сердце каждого школьника загоралось честолюбием, которого часто хватало на две недели. Возможно, что духовный желудок Тома никогда в действительности не жаждал этой премии, но не подлежит сомнению, что все его существо давно уже томилось желанием славы и

блеска, связанных с нею.

В надлежащее время директор взошел на кафедру с закрытым молитвенником в руке и с засунутым между его листами указательным пальцем и потребовал внимания. Когда директор воскресной школы произносит свою традиционную маленькую речь, молитвенник в его руке так же необходим, как неизбежный листок в руке певицы, которая выступает вперед на эстраде и поет соло в концерте — хотя какая в них надобность, остается тайной: никогда ни молитвенник, ни листок нот не пускаются в ход. Директор был невзрачный человек тридцати пяти лет, с песочного цвета бородкой и короткими песочного цвета волосами. Он носил тугой стоячий воротник, верхний край которого почти достигал его ушей, а острые концы загибались к углам его рта; в этой ограде он должен был держать голову прямо, глядя только вперед, и для того, чтобы взглянуть вбок, ему приходилось поворачивать все тело. Подбородок его упирался в широкий галстук с бахромой на концах; носки сапог были сильно загнуты вверх, точно лыжи, по господствовавшей моде, — этого эффекта молодые люди достигали терпением и настойчивостью, прижав носки к стене и просиживая в такой позе часами. Мистер Уольтерс был с виду очень строг, а душой честен и прям. Он так почитал священные вещи и места и так отделял их от всего мирского,

что бессознательно для него самого его воскресно-школьный голос приобрел специальную интонацию, которой вовсе не обладал в будние дни. Он начал так:

— Теперь, дети, я попрошу вас сидеть так спокойно и тихо, как вы только можете, и подарить мне минуту или две внимания. Вот именно так. Так и должны сидеть хорошие мальчики и девочки. Я замечаю, что одна маленькая девочка смотрит в окно, — боюсь, что она думает, что я не здесь, а где-нибудь там — может быть, на одном из тех деревьев говорю с птичками (одобрительный смешок). Я должен сказать вам, что мне очень приятно видеть столько светлых, чистеньких детских лиц, собравшихся в таком месте, как это, дабы учиться поступать справедливо и быть добрыми.

И так далее, и так далее. Нет надобности приводить остальную часть речи. Она была того стиля, который не меняется и хорошо знаком всем нам.

Последняя треть речи была омрачена возобновлением драк и других развлечений между несколькими дурными мальчиками, и шорохом и шепотом, волны которых распространились по всей аудитории, заливая даже подошву таких одиноких и непоколебимых утесов, как Мэри и Сид. Но все звуки разом прекратились, когда голос мистера

Уольтерса смолк, и окончание речи было встречено взрывом безмолвной благодарности.

Шепот в значительной степени был вызван событием, какое случалось не часто: появлением посетителей — стряпчего Татчера, в сопровождении какого-то расслабленного старика, красивого осанистого джентльмена средних лет с седеющими, цвета стали, волосами, и представительной леди, без сомнения, супруги последнего. Леди вела за руку девочку. До сих пор Том чувствовал себя очень неловко, вертелся, как на углях, его мучила совесть — он не мог глядеть в глаза Эми Лауренс, не мог вынести ее любящего взгляда. Но когда он увидел маленькую посетительницу, душа его моментально воспламенилась восторгом. В следующее мгновение он начал выставляться изо всей мочи: тузил мальчиков, дергал за волосы, строил гримасы, словом, проделывал все, что, по его соображениям, могло очаровать девочку и заслужить ее одобрение. К его ликованию примешивалась только одна капля горечи: воспоминание об унижении, испытанном в саду этого ангела; но даже и это бесславное пятно было почти смыто волнами переполнявшего его блаженства. Посетителей усадили на почетные места, и как только речь мистера Уольтерса была кончена, он представил им школу. Человек средних лет оказался высокопоставленной особой, ни более

ни менее, как областным судьей — самым величественным существом, какое детям случилось до сих пор видеть; так что они недоумевали, из какого материала он создан, и почти хотели, чтобы он зарычал, и боялись, что он это сделает. Он был из Константинополя — в двадцати милях от деревни, — стало быть, путешествовал и видел свет. Его глаза смотрели на здание Областного Суда, которое, говорят, было крыто железом. Благоговение, внушаемое всеми этими соображениями, сказывалось в красноречивом молчании и устремленных на посетителя глазах. Это был великий судья Татчер, брат их стряпчего! Стряпчий Татчер немедленно подошел поздороваться с великим человеком и возбудил зависть всей школы. Какой бы музыкой отозвался в его душе шепот товарищей:

— Смотри, Джим! Он идет туда. Гляди же, протягивает ему руку, пожимает ему руку. А хотел бы ты быть стряпчим?

Мистер Уольтерс выставлялся, проявляя всякого рода официальную деятельность и распорядительность, отдавая приказания, расточая наставления, делая замечания о том о сем и обо всем, что приходило в голову. Библиотекарь выставлялся, бегая туда и сюда с охапками книг и поднимая суматоху и возню, которыми утешается мелкотравчатое начальство. Молодые

леди-учительницы выставлялись, ласково склоняясь над питомцами, только что получавшими затрещины, грозя пальчиком шалунам и глядя по головке послушных. Молодые джентльмены-учителя выставлялись легкими выговорами и другими проявлениями авторитета и тщательным соблюдением дисциплины. Большинству учителей и учительниц нужно было зачем-то лазить в книжный шкаф, стоявший подле кафедры, и притом по два, по три раза (что они проделывали с напускной досадой). Маленькие девочки выставлялись разными способами, а маленькие мальчики выставлялись с таким усердием, что воздух был полон бумажными шариками и гулом потасовки. И над всем этим восседал великий человек, и озарял дом этот милостивой судейской улыбкой, и грелся в лучах собственного величия, так как и он ведь тоже выставлялся. Одного только не хватало для полноты восторга мистера Уольтерса — случая вручить Библию в качестве премии и похвастать чудо-мальчиком. У некоторых детей было по несколько желтых билетов, но ни у кого не оказалось их в достаточном количестве, даже среди лучших учеников. Он отдал бы все, чтобы вернуть немецкому мальчику утраченные умственные способности.

И вот в эту минуту, когда всякая надежда

была потеряна, Том Сойер выступил вперед с девятью желтыми, девятью красными и десятью голубыми билетиками и потребовал Библию! Это был удар грома при ясном небе. Уолтерс ни за что бы не подумал, что подобные притязания могут возникнуть из такого источника в ближайшие десять лет. Но разбираться не приходилось: удостоверения были налицо и говорили сами за себя. Итак, Том поднялся на возвышение, где восседали судья с другими избранными, и великая новость распространилась из главного штаба. Это было самое ошеломляющее событие последних десяти дней, и впечатление было так глубоко, что подняло нового героя почти на высоту судьи, так, что школа теперь глазела на два чуда вместо одного. Мальчиков грызла зависть, но самые горькие муки выпали на долю тех, которые слишком поздно сообразили, что сами же содействовали ненавистному торжеству, продавая Тому билетика за сокровища, накопленные им путем продажи права белить забор. Они издевались над самими собой, как жертвы коварного обмана, уязвленной змеи подколодной.

Премия была выдана Тому со всей приветливостью, какую директор способен был проявить при данных обстоятельствах, но в его обращении не хватило сердечности: добряк чувствовал здесь какую-то тайну, которая, быть

может, не выдержала бы света. Просто немыслимо было предположить, чтобы этот мальчик мог собрать две тысячи снопов библейской мудрости в свою житницу; в ней поместилось бы не больше дюжины. Эми Лауренс гордилась и радовалась и пыталась привлечь к себе взгляд Тома. Но он не смотрел на нее. Она удивилась, потом немного смутилась, потом у нее возникло смутное подозрение — исчезло — явилось опять, она стала следить. Мимолетный взгляд открыл ей все — и сердце ее разбилось, тоска и ревность овладели ею, полились слезы, и она ненавидела всех, а Тома больше всех, как она думала.

Том был представлен судье, но язык его прилип к гортани, дух захватывало, сердце билось — частично от сознания грозного величия этого человека, но главным образом потому, что это был ее отец. Он готов бы был пасть перед ним ниц и поклоняться ему, если бы было темно. Судья положил руку на голову Тома, назвал его славным маленьким человеком и спросил, как его зовут. Мальчик поперхнулся, заикнулся и выговорил:

— Том.

— О, нет, не Том, а...

— Томас.

— Ага, вот это так. Я и думал, что оно длиннее. Очень хорошо. Но ведь у тебя есть и другое имя, и ты его скажешь мне, да?

— Скажи джентльмену твое другое имя, Томас, — заметил Уольтерс, — и говори «сэр». Надо помнить приличия.

— Томас Сойер, сэр.

— Так, хороший мальчик. Славный мальчик. Славный мальчуган, молодчина. Две тысячи стихов, это много — очень, очень много. И ты никогда не пожалеешь, что потратил на них труд, потому что знание дороже всего на свете; оно делает людей великими и добрыми; и ты будешь великим и добрым человеком, Томас, и тогда оглянешься на прошлое и скажешь: всем этим я обязан драгоценным урокам воскресной школы; всем этим я обязан моим дорогим учителям, которые позаботились научить меня; всем этим я обязан доброму директору, который поощрял меня, и следил за моими успехами, и подарил мне прекрасную Библию, великолепную, изящную Библию, в мою полную собственность, всем этим я обязан тому, что хорошо учился! Вот что ты скажешь, Томас, и не возьмешь никаких денег за эти две тысячи стихов, — верно, не возьмешь. А теперь ты, конечно, не откажешься рассказать мне и этой леди что-нибудь из того, что выучил, — ну, разумеется, не откажешься — потому что мы гордимся мальчиками, которые хорошо учатся. Ты, конечно, знаешь имена двенадцати апостолов. Назови же мне имена двух первых, которые были

призваны.

Том вертел пуговицу и смотрел бессмысленно. Он покраснел и опустил глаза. У мистера Уольтерса сердце замерло. Он сказал самому себе: ведь этот мальчик не может ответить на самый простой вопрос — зачем же судья спрашивает его? Тем не менее он счел своим долгом сказать:

— Отвечай джентльмену, Томас, не бойся.

Том ни гу-гу.

— Я знаю, что ты ответишь мне, — сказала леди. — Имена двух первых апостолов...

— ДАВИД и ГОЛИАФ!

Опустим завесу милосердия над окончанием этой сцены.

Глава V

Добрый настырЬ. — В церкви. — Пудель и жук.

Около половины одиннадцатого надтреснутый колокол маленькой церкви начал звонить, и прихожане стали собираться на утреннюю проповедь. Ученики воскресной школы разместились по церкви, вместе с родителями, под их надзором. Пришла тетка Полли, а с нею Том, Сид и Мэри. Тома усадили у прохода, подальше от

открытого окна и соблазнительных летних сцен. Толпа наполнила церковь; престарелый и бедный почтмейстер, выдавший когда-то лучшие дни; мэр с супругой — так как у них имелся и мэр в числе прочих ненужных вещей; мировой судья; вдова Дуглас, красивая, нарядная и сорокалетняя, щедрая, добрейшей души и состоятельная; ее дом на холме был единственным палаццо в местечке, притом самым гостеприимным и тороватым в отношении празднеств, каким только мог похвалиться С.-Питерсбург; согбенный и почтенный майор и мистрис Уорд; стряпчий Риверсон, важная залетная птица; затем местная красавица в толпе одетых в батист и ленты юных разбивательниц сердец; за ними все молодые клерки местечка гуртом, — они стояли в притворе, посасывая набалдашники своих тросточек и образуя рой напомаженных и ухмыляющихся обожателей, пока последняя девушка не прошла сквозь их строй; шествие замыкал примерный мальчик, Вилли Мафферсон со своей матушкой, за которой он ухаживал, словно она была стеклянная. Он всегда провожал ее в церковь и был любимцем всех маменек. Все мальчишки ненавидели его — очень уж он был хорош, к тому же их постоянно допекали им. Белый носовой платок виднелся из его заднего кармана, якобы случайно, как всегда по воскресеньям. У Тома не было носового платка, и он считал

мальчиков, обладавших им, хлыщами. Теперь вся конгрегация была в сборе, колокол прозвонил еще раз, чтобы поторопить отставших и замешкавшихся, и в храме водворилась торжественная тишина, нарушаемая шепотом и хихиканьем на хорах в галерее. Хоры шептались и хихикали все время, пока шла служба. Были когда-то благовоспитанные церковные хоры, но я забыл, где именно. Это было очень давно, так что у меня сохранилось лишь воспоминание, но было это, кажется, в какой-то чужой стране.

Пастырь назвал гимн и прочел его с чувством, в особой манере, которая очень нравилась в этом краю. Он начинал в среднем диапазоне, упорно забирался вверх, пока не достигал до известного пункта, тут с необыкновенным пафосом выкрикивал верхнее слово и разом падал вниз, точно с трамплина прыгал.

Найду ли путь на небеса, где радость, мир, любовь,
Пока другие бьются здесь в борьбе, где льется кровь?

Он считался превосходным чтецом. На церковных вечеринках его всегда просили прочесть какие-нибудь стихи, и когда он оканчивал, дамы воздевали руки к небу, затем беспомощно роняли их на колени, закатывали глаза и трясли головами,

будто желая сказать: словами невозможно выразить; это слишком дивно, слишком дивно для нашей смертной земли!

После того, как гимн был пропет, достопочтенный мистер Спрэг превратился в листок объявлений и принялся читать извещения о митингах, собраниях и разных разностях, пока, наконец, список не разросся до того, что казалось, стены того и гляди треснут, — нелепый обычай, до сих пор сохранившийся в Америке, даже в городах, совершенно ненужный в наш век бесчисленных газет. Часто чем меньше оснований у традиционного обычая, тем труднее отделаться от него.

Затем священник прочел молитву. Хорошая, великодушная была молитва, и очень обстоятельная: она ходатайствовала за Церковь и малых детей Церкви, за другие церкви местечка; за само местечко; за округ; за Штат; за должностных лиц Штата; за Соединенные Штаты; за церкви Соединенных Штатов; за Конгресс; за Президента; за правительственных чиновников; за бедных моряков, носящихся по бурным морям; за миллионы угнетенных, стонущих под игом европейских монархий и восточного деспотизма; за тех, которые могли бы пользоваться светом и благой вестью, но чьи глаза не видят и уши не слышат; за язычников на отдаленных морских

островах; заканчивалась она прошением, чтобы слова, которые собирался произнести пастырь, обрели милость и благоволение и упали, как семя на плодородную почву, принеся в свое время обильную и добрую жатву. Аминь.

Послышался шорох платьев, и стоявшие члены конгрегации уселись. Мальчик, о котором повествует эта книга, не проникался молитвой, он только терпел ее, да и то с грехом пополам. Он ерзал все время; он бессознательно отмечал детали молитвы, так как хотя и не слушал, но знал ее издавна установленное содержание и определенный порядок изложения, выработанный священником, — поэтому ухо его улавливало малейшее изменение и все его существо возмущалось им; прибавки казались ему чем-то неблагоприятным и бессовестным. В середине молитвы муха уселась на спинку скамьи, стоявшей перед ним, и смутила его дух, спокойно потирая лапки одну о другую; она охватила ими голову и принялась тереть с такой энергией, что шея вытянулась в ниточку и стала видной, а голова, казалось, вот-вот отлетит от туловища; задними лапками она чистила себе крылышки и приглаживала их, точно фалды фрака; вообще занималась своим туалетом так спокойно, точно знала, что может проделывать это совершенно безопасно. Так оно и было; впрочем: всякий раз,

когда у Тома чесались руки схватить ее, он удерживался, — он был уверен, что душа его моментально погибнет, если он сделает такую штуку во время молитвы. Но при заключительных словах последней рука его начала изгибаться и подкрадываться; и как только раздалось «Аминь», муха оказалась военнопленной. Но тетка заметила это и велела выпустить ее.

Пастырь прочел текст и начал монотонную проповедь, до того усыпительную, что многие стали клевать носами, а между тем в ней шла речь о пламени и сере, и число избранных умаялось до такой крохотной кучки, что вряд ли стоило хлопотать о спасении. Том считал страницы проповеди; по окончании службы он всегда знал, сколько страниц было прочтено, но редко знал что-нибудь кроме этого. На этот раз, впрочем, его заинтересовало одно место проповеди. Пастырь нарисовал грандиозную и трогательную картину, когда все народы соберутся в одну семью, когда лев и ягненок будут лежать рядом и малое дитя поведет их. Но пафос, поучительность, мораль этой картины пропали для мальчика; он думал только об эффектной роли главного действующего лица перед собравшимися нациями; лицо его оживилось при этой мысли, и он соображал, что недурно бы ему самому быть этим малым дитятей, если лев ручной.

Потом он снова впал в уныние, когда